

В ПОИСКЕ НОВЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ

(Методологические заметки о периодизации русской литературы)

В. СЕРДЮЧЕНКО

Перед нами книга, приковывающая внимание уже с самой обложки: «Контекст-72». Что побудило ее авторов, маститых советских филологов, укрыться под столь броским заголовком?

Однако уже предисловие предостерегает читателя от надежд на скороспелые сенсации, там же, кстати, с академической обстоятельностью перечисляются и причины, обусловившие такое, лишь на первый взгляд экстравагантное, название. Главным достоинством сборника оказывается не сенсационность, а, напротив, сугубый теоретизм, умело наложенный на некоторые «горячие точки» сегодняшней художественной и критической мысли. Статьи Ю. А. Барабаша, А. Ф. Лосева, М. Б. Храпченко о структурализме, выступление Я. Е. Эльсберга в связи с «новопочвенными» тенденциями нашей молодой прозы — прекрасный пример тому, как умеет наша академическая наука выполнять свой гражданский долг по счетам текущей современности.

И все-таки в сборнике есть статья, во всех отношениях сенсационная¹. Принадлежит она перу В. Кожина, и без того уже заслужившего авторитет ниспровергателя устоявшихся литературных репутаций.

Следует отметить, что постоянный полемизм кожиновских выступлений всегда опирался на высокую филологическую культуру и тонкость социологического мышления. Можно даже утверждать, что именно Кожин возглавляет сегодня отряд литературоведов, в лице которых история русской литературы спасает многие свои разделы от опасности быть навечно зачисленными по ведомству школьных и вузовских учебников. Анализ Кожинным многих литературных явлений на рубеже 18—19 вв. всегда покоряет плодотворным сочетанием свежести взгляда с научной доказательностью.

Рецензируемая статья также приносит немало неожиданностей. Замах исследовательского пера автора на этот раз огромен: радикальному сомнению подвергается складывавшаяся десятилетиями и упроченная многими лучшими умами отечественного литературоведения

¹ В. Кожин. О принципах построения истории литературы. — В сб.: Контекст-72. М., 1973.

периодизация русской литературы послепетровского времени. О степени резкости, с которой Кожин отрицает традиционную классификативную «сетку» этой эпохи, можно судить по первым же абзацам его выступления: «дело в том, ...что сетка эта трещит по всем швам. Наши историки литературы постоянно накладывают заплатки и ставят подпорки, чтобы не дать ей распасться... Откройте работы о любом из крупнейших писателей допушкинской эпохи, и вы прочитаете, что, скажем, Ломоносов был одновременно и классицистом и просветителем, а Фонвизин, помимо того, был уже отчасти и критическим реалистом, что поэты-декабристы синтезировали классицизм, просветительство и романтизм, а Грибоедов как бы перескочил через романтизм, слил классицизм с критическим реализмом и т. д. и т. п.» (с. 277). Еще более резко звучит последний абзац статьи: «данная статья — не более чем заявка на тему. Но, как представляется, она может сыграть свою роль в преодолении искусственной схемы, которая, в сущности, ставит русскую литературу с ног на голову...» (с. 302).

Что же послужило Кожину конкретной причиной для его очередного научно-критического наступления?

Говоря кратко, автор вообще отрицает наличие в русской литературе XVIII в. классицизма, сентиментализма, просветительства, романтизма. По его мнению, реальные художественные накопления XVIII в. слишком скромны, чтобы всерьез рассматриваться в свете этих грандиозных историко-эстетических категорий, которые на Западе обеспечивались умом и талантом Корнеля, Расина, Мольера, Руссо, Байрона, Вольтера, Дидро, в то время как в России, «если всерьез сопоставить, скажем, трагедии Расина, а, с другой стороны, Сумарокова, сатирические диалоги Дидро и Новикова, повествования Руссо и Карамзина, становится ясно, что это явления, которые невозможно, недопустимо ставить в один ряд» (с. 285); «с известной точки зрения даже возможность сколько-нибудь адекватно перевести на русский язык уже достигнувшую высокой зрелости литературу Запада свидетельствовала бы о зрелости самой русской литературы. Однако в XVIII в. даже эти задачи не могли быть решены» (с. 283).

Итак, видим, что наследию Сумарокова или Новикова отказано в праве находиться даже на самом крайнем фланге европейской культуры XVIII в. По мнению Кожина, языковая и эстетическая неразвитость, но прежде всего социально-политическая ситуация в принципе исключали подобные литературные явления в послепетровской России.

Допустим, мы последуем призыву Кожина отбросить патристические сентименты и вслед за ними отбросим «классическую» хронологизацию русского литературного восемнадцатого века. Но тогда возник-

нет неизбежный вопрос: за счет каких же новых классификаций, представлений, категорий описывать этот вековой багаж нашей отечественной словесности?

Статья Кожина не дает на это ответа. Вместо этого за счет славнофильских цитат Ап. Григорьева, И. Киреевского, В. Ключевского он подвергает общему сомнению реальное влияние петровских реформ на национальное сознание России. Вместе с тем Кожин не отрицает жадного стремления послепетровской литературы освоить далеко ушедшую вперед художественную культуру Запада. Следовательно, «в поле зрения русских писателей прежде всего попадали... современные или хотя бы сравнительно недавние явления западной литературы, т. е. классицизм, просветительство, а позднее сентиментализм и романтизм» (с. 285)? Да, Кожин утверждает это безо всякого знака вопроса. Но почему же тогда не допустить, что из этого разнообразия художественных форм русские писатели выбирали именно те формы, которые поочередно становились наиболее удобными для выражения национальной, отечественной злобы дня? В петровскую эпоху происходит мощная территориально-экономическая консолидация страны, раздробленная боярская Русь впервые превращается в централизованную государственную Россию. Разве основная идеологическая коллизия классицизма — «личность и государство» — противоречит этому основному содержанию первой половины русского восемнадцатого века? Далее, антиклерикальные акции петровской власти, ее антибоярский демократизм, начало массового книгопечатания, открытие светских учебных заведений, зарождение промышленности и естественных наук — разве европейское Просвещение вызывалось к жизни иными причинами? То же и с русским сентиментализмом, и с романтизмом — сам факт сжатости сроков, в которые Россия начала преодолевать с XVIII в. очередные фазы исторического развития, совсем не отменяет пусть ускоренного, «интерферированного», но все же достаточно выраженного прохождения русской литературой соответствующих надстроечных духовно-эстетических стадий.

Итак, в России восемнадцатого столетия все-таки мог быть и был классицизм, даже если в ней не было «чистых» классицистов, и в этом смысле предлагаемый Кожинным пересмотр литературоведческих классификаций потребовал бы первоначального пересмотра классификаций исторических, для чего пришлось бы опровергать совсем уж неопровержимое. Помимо того: что, собственно, доказывает отсутствие в России «чистых» классицистов и так ли уж убедительна ирония по поводу одновременного обнаружения, скажем, у Фонвизина элементов и классицизма, и просветительства, и критического реализма? Ведь если не исключать из творческого наследия Руссо и Дидро соответственно «Исповеди» и «Плёмянника Рамо», окажется также невозможным от-

нести первого к чистым сентименталистам, а второго — к чистым просветителям. Живая творческая индивидуальность художника ни в какие эпохи принципиально не укладывалась в одномерную плоскость какого-либо единственного «изма», это прописная истина, которую, безусловно, разделяет и Кожин.

Второй стержневой тезис этой статьи представляется еще более проблематичным. Кожин предлагает перенести сроки наступления русского сентиментализма, просветительства, романтизма на целое столетие вперед, в девятнадцатый век. Нам предлагают увидеть подлинных сентименталистов в молодом Достоевском, Толстом, Тургеневе, а подлинных романтиков в том же Достоевском, Тютчеве, Фете, Лескове, Ап. Григорьеве, К. Леонтьеве и, наконец, в Глебе Успенском. Даже при таком расширительном пользовании понятием «романтизм», когда оно вообще размывается до потери всякой терминологической ценности, относить к романтикам бытописателя из бытописателей, трезвейшего из трезвых Глеба Успенского никак невозможно. Но даже за вычетом этой очевидной накладки литературоведческий язык статьи поражает какой-то всепроникающей двусмысленностью. Тот же самый романтизм безо всяких оговорок обозначает у Кожина то локализованную во времени стадию историко-литературного процесса, то вневременную форму художественного мироощущения, то определенный стиль жизни — озабоченный прежде всего полемическим накалом своей статьи, Кожин эксплуатирует эту смысловую «троякость» романтизма без малейших переходов и в конце концов компрометирует терминологическую доброкачественность своих положений. То же и с просветительством. Не Феофан Прокопович, не Новиков, не Пнин, не «научный» Ломоносов, а Чернышевский, Добролюбов, Щедрин. Но тогда почему не Ленин, не Плеханов, не Горький? Или не народники, не социал-демократы? Снова приходится уточнять нечто, что прекрасно понимает и сам автор: что просвещающее начало, неотъемлемо присущее любой политической пропаганде и агитации, не может служить основой для историко-литературной периодизации, это методологический нонсенс, в результате которого Новиков, изгнанный Кожинным из русских просветителей (вкупе с самим Просвещением XVIII в.), вновь может быть возвращен в лоно просветительства — если не как организатор в России периодического журнального дела, на основе которого формировалась разночинная читательская аудитория, то как идеолог дворянской оппозиции и автор «Писем к Фалалею»:

В конце концов в результате этих непрерывных терминологических подставок начинаешь теряться, образно говоря, «что есть что» и «кто есть кто» в нашей литературной истории. Грандиозность исходных кожиновских тезисов чем дальше, тем очевиднее оказывается в обратной пропорции к качеству употребленной в их защиту аргументации, доб-

рая треть которой, кстати, вообще не относится к теме, представляя собой полемику с Д. Николаевым по поводу истинного содержания европейского Возрождения. Но и здесь, в этом автономном экскурсе, царит все та же «вменяющая» и подстановочная логика. «В нашем литературоведении довольно широко распространено представление об эпохе Возрождения как о времени безусловного торжества всякого рода свобод, жизнерадостного упоения бытием, победного шествия искусств и наук; после мрачного и жестокого средневековья наступила эпоха всеобщего раскрепощения и освобождения от всяческих уз» (с. 289).

Смеем утверждать, что «наше литературоведение» не имеет к этому нелепому бодряческому представлению ни малейшего отношения. «Широко распространена» как раз иная точка зрения: новые мировоззренческие ценности Возрождения побеждали в жестокой борьбе со средневековым обскурантизмом, эта борьба доходила до физической расправы с выразителями нового миропонимания и мироощущения, так, что когда Кожинов тоном первооткрывателя начинает перечислять преступления инквизиции, Варфоломееву ночь, убийство Томаса Мора, Кристофора Марло и Серрея, преследования Шекспира, тайную политическую полицию в Англии, то мы готовы присоединить к этому мрачному списку и сожжения Бруно, Фонтанье, Ванини, расправу над Галилеем, папский „Index librorum prohibitorum“ и многое, многое другое, потому что все это как раз и докажет невиданную мощь наступления Ренессанса, ветшающие устои средневековья. Здесь, как мы уже сказали, снова какая-то ненужная логическая манипуляция, притом двойная, потому что страницей ниже автор реабилитирует эпоху Возрождения, которую он разоблачал страницей выше: «никакие преследования не могли подавить напряженную духовную жизнь эпохи, ту духовную жизнь, высшими проявлениями которой были и книги Мора, и Бэкона, и драматургическое творчество предшественников и продолжателей Шекспира...» (с. 292). Вот именно, одно дело антигуманная жестокость эпохи Возрождения, а другое — гуманистическое содержание самого Возрождения, и даже как-то неудобно адресоваться с этими хрестоматийными разъяснениями к ученому такого ранга, как Кожинов.

Но вернемся к основному в статье, к периодизации нашей отечественной культуры. Даже если бы кожиновский призыв к радикальной ревизии этой периодизации имел действительный и плодотворный смысл, он направлен на слишком серьезные предметы, чтобы исчерпаться одним азартным отрицанием, софизмами и терминологическими произвольностями. Можно, конечно, цитировать послания Аввакума в виде стихотворного верлибра (с. 288) и на этом основании объявлять его художественно-философским единомышленником Державина, можно про-

зреть в Ломоносове такого поэтического Вакха от науки по той причине, что в его поэзии царит дух чувственной «научности», а не классицистической «учености» (?) — но все это будет своего рода литературоведческой гимнастикой, игрой ума, эпатацией ради эпатации.

В самом конце своей статьи Кожинов определяет ее жанр так: «не более чем заявка на тему». Что же, в таком качестве она может быть принята к сведению. Но тогда не следовало бы торопиться с низведением энциклопедических студий Благого, Лихачева, Сермана до уровня «заплат» и «подпорок» под «трещащую по швам» схему.

NAUJŲ KLASIFIKACIJŲ BEIEŠKANT

(Rusų literatūros periodizacijos metodologijos klausimais)

V. SERDIUCENKO

Re z i u m e

Straipsnyje polemizuojama su V. Kožinovu, kuris neigia tradicinius rusų 18 a. literatūros periodizacijos principus.

IN SEARCH OF NEW CLASSIFICATIONS

(Division into Periods Methodology Problems in Russian Literature)

V. SERDIUCENKO

S u m m a r y

The article enters into polemics with V. Kozhinov, who denies the traditional division into periods principle in Russian literature.